

18+

Олег Малахов



He

Близкие

Люди

Олег Малахов

Не Близкие Люди

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57283920

ISBN 9785005127341

Аннотация

Роман «Не Близкие Люди» – это история о людях, общее горе которых не сблизило их, как это обычно бывает, а наоборот – послужило причиной разрыва всех отношений. Но как двум сторонам поделить ребенка? Как найти компромисс, когда герои не слышат друг друга? А тонкий баланс между простым и сложным, эмоциональным и сдержанным стерт пустыми обидами.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	18
Глава третья	38
Глава четвертая	57
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Не Близкие Люди

Олег Малахов

*Люди никогда не бывают
не безмерно хороши
не безмерно плохи.
Франсуа де Ларошфуко*

© Олег Малахов, 2020

ISBN 978-5-0051-2734-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая

Старик Модзалевский впервые после двухнедельного отсутствия явился сегодня на службу – на пристань пароходства «Сом».

Две недели были вычеркнуты из его жизни и проведены в такой невыносимой тоске, что он никогда потом не мог вспомнить об этом времени без ужаса и сердечной боли. За эти две недели в его семье стряслось страшное несчастье: умерла единственная и горячо любимая дочь.

Стариков Модзалевских и их дочь знал и любил весь город. Модзалевский был всего лишь местным пароходным агентом, но благодаря его деятельности, ему приходилось иметь деловые отношения чуть ли не со всем городом: а так как он был чрезвычайно общительный, любезный и приятный в общении человек, то все кто вел с ним дела, очень быстро становились его близкими знакомыми, а иногда даже и друзьями. Его дочь – умная и красивая девушка – считалась одной из самых замечательных и прекрасных барышень в городе. Многие за ней настойчиво ухаживали, делали предложения – и два года тому назад она приняла одно из таких предложений и вышла замуж за молодого доктора. Молодые поселились в одном доме со стариками, жили с ними спокойно и мирно, и все, казалось, шло благополучно. О Модзалевских говорили: «Дом, где смеются».

И вдруг свалилось бессмысленное и ужасное в своей нелепой жестокости несчастье: дочь Модзалевских, Елена, захворала scarлатиной и, промучившись неделю, умерла.

Когда Модзалевский вошел в свою контору, все служащие, которые там находились, замолчали и поднялись со своих мест, и кто с любопытством, а кто с состраданием и изумлением – глядели на него.

Торопливо кивая и ни с кем – против своего обыкновения – не здороваясь за руку, Модзалевский боком, неловко прошел через главную комнату и пробрался в свой кабинет.

Там у заваленного папками окна, выходящего на залитую солнцем Волгу, стоял ближайший сотрудник Модзалевского, главный кассир и бухгалтер, Чакветадзе. Это был простой, прямой и немного резкий грузин средних лет. С ним Модзалевскому было удобно и легко работать, нежели с другими.

Чакветадзе – огромный, сильный и темный, словно бронзовая статуя – спокойно протянул ему гигантскую волосатую ладонь и внимательно, в упор поглядел на него.

– Что ты так смотришь, Иван Иванович? – запинаясь, проворчал Модзалевский.

Чакветадзе, собственно, звали Генацвале Джумберович, но кто-то придумал (едва ли даже не он сам) для краткости называть его «Иван Иванович», – и это обращение утвердилось бесповоротно.

– Напрасно ты приехал – с суровой ласковостью, тоном ворчливой, заботливой няньки промолвил бухгалтер.

– А что?

– Да ведь лица на тебе нет! Смотри, пожалуйста, на кого ты похож? Мы и без тебя справимся. Поезжай-ка обратно домой.

– Надо же и за работу приниматься, Иван Иванович. – тихо ответил Модзалевский.

И, боясь, что Чакветадзе заведет разговор о его несчастье, он торопливо спросил:

– А что у нас нового?

– Да ничего! – возразил бухгалтер: – что нового? Все старое «Крестьянин» вчера опять на пять часов запоздал. Давно пора убрать его и новый пароход пустить. И пассажиры, которые на него попадают, обижаются... Написать бы в правление...

– А как там «Фортуна»? – спросил Модзалевский про конкурентное пароходное общество.

– «Фортуна» опять жулит! – воскликнул он: – не хочет соглашение соблюдать – и все тут! С Лукашина за груз опять на пятак дешевле взяли.

У грузина даже глаза засверкали от негодования при этих словах.

– И чего они, скажи, пожалуйста, жульничают? Да и Лукашин дурак! Сотню-другую сэкономил, а груз пойдет дороже, да еще и изгадят в пути... Вот мы бы, небось, и скорее и аккуратнее доставили бы.

В другое время эта история взволновала бы Модзалевско-

го. «Фортуна» была обязана взаимным соглашением поддерживать установленные общие цены, но то и дело втихомолку понижало их, завлекая к себе клиентов, нанося тем самым ущерб «Сому» и еще двум другим пароходным обществам. Модзалевский, как агент одного из самых главных обществ, старательно ловил и изобличал «Фортуну» в ее махинациях. Но теперь вся эта возня с «Фортуной» показалось ему чем-то глупым и ненужным.

– Надо будет доложить правлению... Это, в конце концов, глупо. Мы не сыщики, чтобы караулить каждый их шаг. Самое лучшее было бы убрать их из соглашения.

– Вот и я это самое говорю! – подтвердил Чакветадзе. – И чего, собственно спрашивается, бояться? – Конкуренции? Да что может сделать «Фортуна»? Убавить цены? Ну, будут у них новые цены, а пароходы останутся старые, порядки останутся прежние. Дураки, конечно, польстятся на их цены, а потом когда они обожгутся, сразу к нам и прибегут. Да тот же Лукашин к нам придет... Вот только пароходов бы нам побольше: надо вторую линию пустить, тогда от «Фортуны» только название и останется.

Модзалевский молча слушал грузина и все еще боялся, что тот станет расспрашивать о его горе. Но Чакветадзе, попав на свою любимую тему, по-видимому, забыл обо всем остальном и активно жестикулируя говорил без остановки. Говорил так горячо и эмоционально, что у него от волнения даже покраснело лицо.

Его раскатистый голос громко раздавался в светлом, залитом солнцем кабинете. И как бы заодно с ним так же громко и уверенно, в соседних комнатах, щелкали счеты и пробивались билеты. Оттуда же доносились разговоры, смех и неотъемлемый шум рабочей суеты.

Дверь распахнулась, и конторский вахтенный, красивый и светлый юноша, Алексей Владимирович, доложил:

– Николай Павлович, «Гвидон» подходит!

– Близо? – спросил за Модзалевского бухгалтер, прервав сам себя на полуслове.

– Товарищество нефтяного производство прошел.

– Ясно, ступай.

Алексей Владимирович скрылся. Чакветадзе заглянул в окно, совершенно закрыв его своей гигантской фигурой.

– Опаздывают, – промолвил он: – грузятся в последнее время долго они.

Модзалевский почувствовал, что здесь, в привычной и приятной для него обстановке, в общении с приятным, а главное, – посторонним его горю человеком, ему становится легче: он почувствовал себя способным разговаривать о произошедшем. Вместе с тем ему стало понятно, что в этом состоянии неожиданного размягчения он способен расплакаться, завывать и начать биться головой об стену. Его горе перешло из мертвой стадии в стадию живую – более легкую, но более бурную.

Чакветадзе снова принялся рассуждать о «Фортуне». Лу-

кашин, видимо, не давал ему покоя.

– Вот ты бы, Николай Павлович, наверное, сумел бы его уговорить. Обидно же. И денег мы не получим, и он дурак товар испортит. А получилось так из-за того, что ты... – осекся: – ну... занят был.

Разговор принял роковой оборот. Но Модзалевский уже не пытался отклонить Чакветадзе от больной темы. Он молча слушал его, склоняясь над кипой счетов, накладных и телеграмм, и ждал неумолимых, но уже не казавшихся ему теперь нетерпимыми, расспросов.

И расспросы неумолимо последовали.

Чакветадзе был, конечно, осведомлен – и при том довольно детально – об ужасном несчастье Модзалевского. Но он узнал все это от вторых и третьих лиц, а ему хотелось получить сведения из первоисточника.

И он стал расспрашивать Николая Павловича своим обычным деловым тоном.

– Как же это у тебя беда такая случилась? Что произошло то?

Модзалевский хотел ответить, но все еще не мог. В этот момент снова в дверях появился вахтенный.

– Николай Павлович, «Гвидон» на горизонте.

Модзалевский в качестве агента обязан был лично встречать каждый пароход. Он поднялся, чтобы выйти наружу, но грузин-бухгалтер почти насильно усадил его обратно.

– Сделай милость, сиди, пожалуйста, спокойно... И без

тебя там справятся!

Модзалевский покорно опустил на стул. Наступила минута молчания. Веселый шум пристанской жизни, казалось, усилился, а по потолку бегали и дрожали светлые отражения воды. Мимо окон медленно прошел, солидно дымя свою трубой, огромный буксир и вдруг свирепо заревел на приближающийся встречный пароход. В ответ ему раздался другой медноголосый вопль с парохода, тревожа ясный простор задремавшей в тепле позднего утра Волги.

– Так что же произошло? Почему такая беда случилась? – продолжил свой допрос Чакветадзе.

Модзалевский немного успокоился и уже мог ответить на этот вопрос.

– Разве можно, Иван Иванович, сказать, почему? – возразил он: – ребенок подхватил скарлатину, а она уже заразилась от него.

– Ай как жалко, слов не найти как жалко... – промолвил Чакветадзе, качая своей головой: – И как несправедливо то! Такая молодая, такая умница, такая красавица!

Модзалевский почувствовал, как у него сдавило горло, будто на него накинута удавку, и в это мгновение потемнело в глазах. Впрочем в окнах кабинета действительно потемнело. Заслоняя ширину и блеск реки, там к пристани медленно подплывал пароход. Показалось два этажа окон, галерея с белыми спасательными кругами и темные фигуры пассажиров выстраивающиеся в очередь к трапу. Пароход остано-

вился мягко толкнувшись о борт пристани.

– А доктора почему не уберегли? – продолжал Чакветадзе: – а ведь еще и муж – доктор!

Всякий другой человек, если бы он стал сейчас делать такие замечания, рисковал бы не получить ответа, или бы получил в грубой форме замечание, что это не его дело... Но грузин-бухгалтер был так мил, добродушен и сердечен, что Модзалевский допустил все эти щекотливые апострофы и счел даже возможным отвечать на них.

– Да, вот не уберегли. Вот и муж ее тоже доктор, и тоже не уберег! – ответил он чувствуя близость слез.

– А ребенок как? Шибко хворал?

– Шибко хворал. – ответил Модзалевский, невольно употребляя выражения собеседника: – но дети легче переносят скарлатину, чем взрослые. Ребенок потихоньку поправляется...

– Елена Николаевна долго мучилась?

– Неделю... Неделю с лишним... И с первого же дня стало понятно, что не перенесет...

– Ужас – сочувственно пробормотал Чакветадзе.

– Все было сделано... – продолжал Модзалевский, тщетно стараясь унять дрожащий голос, прыгающий подбородок и наступающие слезы: – всех докторов собрали, а толку то... Ох как она мучилась! Ведь она уже в первые дни знала, что не выживет... И ребенка жалела, и нас жалела.

– Какой ужас, ах какой ужас... – тихо повторял бухгал-

тер: – а ребенка то как жалко, мать в таком возрасте потерять. И тебя жалко до боли Николай Павлович... Такой счастливый человек ты был, и такое несчастье...

Модзалевский вдруг почувствовал, что горло ему захватило судорогой. Он торопливо поднялся со стула, хотел побороть себя, отвлечься. Но уже было поздно... Широкая и бурная волна плача вдруг нахлынула на него. Он бессильно опустился обратно на стул. Закрыв глаза ладонями и жалко заплакал, словно заблудившийся в лесу ребенок.

Чакветадзе в первую минуту растерянно смотрел с широко раскрытыми глазами на своего плачущего сослуживца, никак не ожидая такого конца. Потом он попытался утешить его.

– Не плачь Николай Павлович, не плачь пожалуйста! Ну что ты...

Но старый агент плакал безостановочно, неудержимо, словно в нем пробился огромный источник.

Тогда Чакветадзе попытался ухаживать за ним: зашторил все окна в кабинете, принес полотенце, налил и поставил перед Модзалевским стакан воды. И тщетно придумывал, чтобы еще сделать?

Вдруг дверь широко раскрылась, и вошли капитан «Гвидона» и его помощник.

– ...А ему значит говорю: «С дураками в карты не играю, а то сам дураком стану», – заходя и громко смеясь оба сначала не увидели плачущего агента.

– Да тише вы, тише!!! Выйдите отсюда, потом зайдете! – накинулся на них со злобным лицом Чакветадзе.

– Батюшки!... – изумился капитан: – Николай Павлович? Что это вы? Что это он? – растерянно обратился он сначала к Модзалевскому, а потом к Чакветадзе.

– Уходи, пожалуйста! Очень тебя прошу. – громко шептал грузин (хотя никакой надобности в шептании не было): – горе у человека – дочь умерла.

– Да что ты?... Какая дочь? Неужто Елена Николаевна? – воскликнул капитан: – Когда? Как?

– Я тебе говорю иди отсюда! Не видишь плохо человеку, ступай.

Капитан и помощник помялись, и на цыпочках вышли вон. Бухгалтер вышел следом за ними и тихонько затворил дверь, оставив плачущего агента одного в кабинете.

– Скажи на милость, что произошло с Еленой Николаевной? – пробормотал капитан: – я ведь ничего не знаю...

– Потом все узнаешь. – рявкнул Чакветадзе: – ты вот лучше скажи, что мне с ним делать? Капель ему, что ли, каких дать? За доктором послать?

– Я тебе сейчас дам, Иван Иваныч, пароходную аптечку. – сказал капитан: – возьми оттуда валерьяновых капель и дай ему штук двадцать... И все же, что за история? Ах жаль барыню! Славная была... А я ведь за тобой пришел, хотел позвать стерлядь покушать.

– Спасибо! Кушай сам! – быстро ответил бухгалтер: – я

не могу старика сейчас оставить, жалко. Пошли за твоей аптечкой!

Когда Чакветадзе вернулся обратно с аптечкой, то застал перед дверями кабинета целую толпу: конторские служащие, кассир, практикант с парохода и Алексей Владимирович столпились у дверей и с жадным, нелепым любопытством смотрели сквозь полуоткрытую дверь на Модзалевского. Старик все еще плакал, сидя все в той же позе за своим столом. На полу в луже воды лежали осколки разбитого стакана. Очевидно, Николай Павлович, уронил его неловким движением локтя.

– Смотри, стакан разбил. – сказал один клерк другому, не заметив возвращения бухгалтера.

На лице клерка, не было ни капли сочувствия, из-за чего увиденное и услышанное мгновенно вскипятило, и без того горячую, кровь грузина.

– Убирайтесь вон!!! – гаркнул он во все горло, покраснев до такой степени, что лицо стало лилово-красным: – Живо возвращайтесь, дураки бесчувственные, по своим местам! Что тут смотреть?! У человека горе, плачет, а вы глазеете! Ууу, болваны, идиоты, шайтаны проклятые!

Глазеющие сконфузились и начали разбредаться. Чакветадзе окончательно рассвирепел, схватил половую щетку и швырнул ее в толпу отступающих по своим местам, уже совершенно не думая о спокойствии им же самим охраняемого Модзалевского.

Модзалевский, словно пробужденный воплями грузина, пришел в себя и перестал плакать.

Он чувствовал страшную разбитость и вялость во всем теле, но острая душевная боль прошла. Он огляделся, вытер набухшие красные глаза и промолвил:

– Иван Иванович, будь добр, позвони, чтобы дали холодной воды. Да позови Сухомлина.

– Работать хочешь? – кротким и тихим голосом спросил Чакветадзе, заботливо, словно нянька, наклоняясь над ним: – а может лучше тебе домой пойти? Или немного отдохнуть? Ведь опять плакать начнешь...

– Нет уж, довольно! – сконфуженно пробормотал Модзалевский: – пора за дело браться.

Он пошел в уборную, умылся ледяной водой, выпил капель и, освеженный и спокойный, вернулся в кабинет.

– Оставили ли каюту Акимову? – спросил он кассира: – Он еще вчера по телефону заказывал.

– Николай Павлович, кают нет, – ответил кассир: – паром ход весь забит, не одного места нет.

– Позвоните ему на квартиру: может быть он еще не успел выехать на пристань. Спросите, не подождет ли он до завтра? Да вели первый свисток давать. И без того задерживаемся.

Спустя минуту над конторой, перекрывая смешанный гул голосов пассажиров, мощно зазвучал гудок с «Гвидона».

И Модзалевскому показалось, что этот знакомый и приятный шум звал его к прежней трудовой и спокойной жизни.

ни. Он как бы говорил ему: «Твой страшный двухнедельный кошмар закончился. Ты опять войдешь в старую колею и будешь доживать жизнь в прежней обстановке, чуждой потрясений и недоумений».

И вплоть до отхода «Гвидона» Модзалевский чувствовал себя по старому работоспособным и любящем свою работу тружеником. Он разговаривал с пассажирами, урезонивал грузоотправителей, отправился на пароход присутствовать при высаживании какого-то скандалившего пассажира и имел такой спокойный вид, что ревниво наблюдавший за ним Чаквитадзе недоумевал и бормотал, пожимая плечами.

– Смотри, пожалуйста! Совсем другой человек. А ведь как плакал! Как плакал!

Глава вторая

Но когда Модзалевский вернулся домой, в городскую квартиру, ему стало ясно, что прежней колеи все-таки еще нет, и что потрясения и недоумения вовсе не кончились.

Если там, на пристани, в обстановке привычной работы, все было ясно, и все звало к жизни, то здесь, дома, все оставалось еще в границах прежнего ужаса и скорбного недоумения перед злым и непонятным ударом судьбы. И, войдя к себе, Модзалевский опять почувствовал, что прежняя жизнь непоправима и невозможна.

Тысяча мелочей напоминали ему о жестокой утрате: рояль, ноты, картина, нарисованная Еленой, её книги, вещи. Все это осталось без изменений, как будто смерть и не приходила к ним в дом. Но самым ярким напоминаниям были два живых существа, остававшиеся в доме Модзалевских после кончины дочери: её ребёнок и её муж.

Ребенок был её продолжением, частичкой её самой, – и это напоминание было приятным. Оно служило естественным и живым звеном с навсегда угасшей дороги жизни и сулило в будущем какую-то смутную отраду.

Муж Елены – доктор Лукомский, наоборот, был напоминанием тяжелым, кошмарным...

Он никогда не был приятен Модзалевским. Они считали брак дочери крупной ошибкой. Для них так и осталось

неразрешимой загадкой, почему их Елена – милая, красивая и умная девушка, имевшая все шансы сделать какую-нибудь очень блестящую партию, – остановила свой выбор на этом человеке? Лукомский был молчалив, эгоистичен, чопорен, говорил исключительно только об одном себе, о своих привычках, о своих успехах в жизни, – и было время (в самом начале его появления в обществе Модзалевских), когда Модзалевские, при всем их гостеприимстве и любвеобилии, позволяли себе подтрунивать над ним и относились к нему с неодобрением. И каким-то совершенно непонятным для стариков способом случилось то, о чем они буквально и подумать не могли: Елена вышла замуж за этого неприятного им человека.

С этого времени начались постоянные проблемы в семье Модзалевских. Доктор поселился в их доме, – и с первых же дней Модзалевские почувствовали, что к ним в дом вошло что-то лишнее, тягостное. Вошел нудный, тяжелый человек – и стал между ними и их дочерью.

Модзалевские так любили дочь, что им и в голову не пришло бы мешать ей в её брачном выборе. Они сочли своим долгом принять её выбор и были готовы принять Лукомского, как родного, несмотря на всю антипатию к нему. Но зять-доктор отчасти невольно, отчасти по своей доброй воле всеми способами мешал им в этом добром намерении.

Это был страшно самовлюбленный и болезненно мнительный человек. Он чрезвычайно боялся за свой авторитет и до-

стоинство, и ему казалось, что все окружающие только и делают, что подкапываются под этот авторитет. Хотя Модзалевские – особенно в первое время после женитьбы – всеми силами старались относиться к нему уважительно и любезно, он по старой памяти, видел в каждом их слове и каждом поступке – насмешки и презрение. Это глубоко оскорбляло его. Душа его никогда не была спокойна: он постоянно держался на чеку, готовый дать отпор, показать свое достоинство, ответить пренебрежительной и колкой фразой. В этих же целях, т.е. ради поддержания своего авторитета, он всеми силами старался навязать свои порядки и свой режим, забывая, что он живет не в своем доме. Все это служило предметом постоянных ссор с тестем и тещей, а иногда и с женой.

Лукомский работал в одной из местных университетских клиник и ожидал заграничной командировки. Из-за ожидания этой командировки, он и не обзавелся собственной квартирой. Командировки очень долго не было, а когда его наконец собрались отправлять, то оказались какие-то новые затруднения и задержки. И Лукомский продолжал жить в одном доме со стариками, и это еще больше портило отношения.

Когда родился ребенок, то вместо радости и счастья возникли новые проблемы.

Модзалевские страстно любили маленьких детей и с первых же дней появления маленького существа в их доме, приложили к нему огромную любовь, заботу и внимание.

Но доктор Лукомский решил, что они узурпируют его права, как отца, и права Елены, как матери, хотя Елена не видела здесь решительно никакого нарушения своих прав. Лукомскому стало казаться, что в семье его задвигают на последнее место. Поэтому он начал вмешиваться во все: лез во все дела семьи, требовал исполнять его порядки, укорял стариков за то, что они не исполняют его докторских предписаний, что они неправильно моют и кормят младенца. В конце концов около колыбели ребенка началась негласная война.

В разгар этой самой войны Елена и скончалась.

Войдя в гостиную, Николай Павлович с недоброжелательным чувством увидел сидевшего в кресле у окна мрачную фигуру Лукомского.

После смерти жены Лукомский сделался еще более суровым и чопорным. Он исхудал, опустился, стал чрезвычайно раздражительным и забросил все свои дела. С утра до вечера он словно тень бродил по дому, изводя всех своим присутствием и заодно изводился сам.

Модзалевский при видя зятя испытал сейчас такое чувство, как будто внутрь его, куда-то в сердце, вошло что-то сухое и колючее. Вошло, остановилось и мешало жить. Никогда прежде это чувство не было еще так сильно, как сейчас. Сейчас ему стало абсолютно ясно, до какой степени мешал Лукомский всему дому, и до какой степени он был здесь чужим.

«Господи, какое было бы счастье, если бы он уехал!» –

мелькнула мысль у Модзалевского.

Лукомский повернулся к тестю и, поглаживая свои тоненькие усы и нервно мигая, промолвил:

– Что это такое значит? Я желаю знать, за кого наконец меня держат в этом доме? Будьте добры объяснить!

– Что опять такое? – усталым тоном спросил Николай Павлович.

– Матан сейчас распорядилась не допускать меня в детскую! – крикливо промолвил зять.

Модзалевский неохотно взглянул на его длинную худую фигуру, на бледное, с слабой растительностью лицо, на выпирающий кадык, на холодные светло-голубые глаза и досадно произнес:

– Опять вы, Даниил Валерьевич, с вашими кляузами. И без того тошно... На свет не глядел бы, а тут еще вы с вашими пустяками!

– Называйте это, как вам угодно: «пустяками» или «кляузами», но я не намерен терпеть такого отношения, и очень прошу передать матан, что я...

– Господи, да передам! – прервал его Модзалевский: – я спрошу её, что у вас там случилось и постараюсь все уладить. Хорошо? Но я вот чего не понимаю: неужели вы, Даниил Валерьевич, не можете принять во внимание, что если вам тяжело, то и ей наверно не легко? И что можно войти в её положение и извинить ей некоторую резкость.

Лукомский вздернул плечами.

– Вчера резкость, сегодня резкость, завтра резкость... Извините меня, но я, право, не понимаю, почему именно на меня сыпятся все эти резкости? Я что мальчик для битья? Что я сделал такого? Разве я не полноправный член вашей семьи? И наконец – это мой ребенок и я его отец!

– Да знаю, знаю! – промолвил Модзалевский: – вы – полноправный член семьи, вы – муж, вы – отец. Но ведь и мы то тоже не чужие... А главное, вы словно делите что-то с нами. Надо бы больше спокойствия и понимая. Ведь всех нас настигла эта трагедия, а не только вас одного.

У Модзалевского опять задрожал подбородок, и к горлу подкатила волна. Но эта была уже не та волна детского, чистого плача, как там, на пристани. Сейчас вздымалось злобное, враждебное чувство, почти ненависть к этому к этому безнадежно-постороннему человеку. Казалось бы, теперь-то, после смерти Елены, его проживание здесь теряло всякий смысл: ведь только ей одной он почему-то был дорог и важен. А между тем она – бесконечно дорогая и несказанно нужная – ушла навсегда, а он остался здесь и, по-видимому, не думал никуда уходить.

А в голове все никак не могло уложиться это острое, колючее противоречие.

«Правда, оставался ребенок. Его ребенок. Но ведь он не любит этого ребенка! – думал Николай Павлович: – Откуда же могло возникнуть у него право на близость к ребенку? Ведь только из чисто формальных оснований: „Это мой

ребенок и я его отец“ Сухой черствый человек!»

Модзалевский пошел в детскую.

Детская занимала самое лучшее помещение в доме: Модзалевские пожертвовали для неё своей просторной и светлой спальней и такой же просторной второй гостиной, перейдя спать в неудобную проходную комнату. Стены детской были оклеены особыми глазированными, безупречно белыми обоями, на которых не держалась пыль; вся мебель, начиная от новомодной, усовершенствованной детской кровати и заканчивая последней табуреткой, была куплена в специальном столичном магазине и блестела белым лаком и глазурью. Высоко у потолка виднелась какая-то особенная, хитроумная лампа, дававшая рассеянный матовый свет. На шкафу в углу комнаты, лежали в большом количестве различные мягкие игрушки, раскраски, разноцветные мячи, волчки, погремушки и кубики. Модзалевские в шутку говорили, что в такой обстановке должен вырасти как минимум министр.

Прежде, чем войти в детскую, Модзалевский тщательно вымыл руки и надел домашние тапочки, чтобы как-нибудь ненароком не занести сюда, в это чистое и светлое царство, уличную грязь. И только после этого он позволил себе приоткрыть дверь детской и заглянуть туда, чтобы убедиться, там ли Елизавета Сергеевна.

Модзалевская была там.

Она только что закончила купать ребенка и теперь гото-

вила для него молочную смесь (Модзалевские считали безнравственным пользоваться услугами кормилицы и кормили внука искусственно). Одета в белый халат, с засученными рукавами, окруженная целым ассортиментном бутылок и склянок, она была сейчас похожа на ученого-химика из лаборатории. В детской было жарко, и пахло теплой сыростью от еще не вынесенной ванны.

Модзалевская разлила смесь в бутылочки, взяла у няни раскрасневшегося мальчика и ловким, привычным, движением завернула его в одеяло. Взяв его на руки, она поднесла к его губам бутылочку, и ребенок с деловитым видом поймал наконечник соски и стал торопливо сосать смесь, проводя глазами по потолку и стенам, словно изучая их.

Когда ребенок закончил, Модзалевская положила его поперек большой кровати на подушку и села рядом на стул.

– Ну вот и все, – промолвила она глядя на внука: – теперь будем спать.

Она днями и ночами ухаживала за внуком. Это ухаживание, очень усложнившиеся после скарлатины, отнимало у нее все время и давало ей возможность легче переносить горе. Она вся ушла в это сложное и кропотливое дело и спасалась им от невероятной тягости утраты. Это было для нее таким же отвлечением, как для её мужа его пристань и пароходы.

Модзалевский пришел сюда для того, чтобы переговорить с женой о новой жалобе зятя. Но в детской находилось по-

стороннее лицо – няня, и он ждал, когда она вынесет ванну и уйдет.

– Ну, что, как там Сашенька? – спросил он жену.

– Лучше, слава богу.

Модзалевский взглянул на ребенка, на это маленькое живое воспоминание о любимой дочери, и ему стало грустно и опять хотелось плакать. Ему хотелось поговорить с женой о внуке, о его будущем, о его воспитании – но в душе острым клином сидела мысль о Лукомском и только что произошедшем разговоре с ним. Необходимо было завести разговор о нем.

Няня подняла мокрую, блестящую ванну и ушла с ней из комнаты. И Модзалевский нехотя начал.

– Что у вас опять произошло?

Он не сказал, с кем, но жена поняла.

– Послушай, Коленька, – негодуяще начала она и покраснела от волнения: – я не понимаю, что это за человек такой? Я купала Сашу; было жарко, и я разделась, а он стучит в дверь и требует, чтобы я немедленно впустила его присутствовать при купании. Я ему русским языком говорю, что не могу, что я не одета, что некогда одеваться, потому что ванна остынет, а ребенок хочет спать. А он ничего слушать не хочет, я рассердилась и накричала на него.

– Эх, Лизанька! – поморщился Модзалевский.

В душе он был полностью согласен с женой. Но, по свойственной ему мягкости и деликатности, он не любил её рез-

костей и всегда старался смягчить их. К тому же сейчас надо было примирить враждующие стороны.

Ребенок заснул и Модзалевские перешли на шепот.

– Нельзя так, Лизанька! – промолвил Николай Павлович: – Не злодей же он, в самом деле... Я полагаю, что необходимо установить мир, – иначе нормально мы жить не сможем. Мы только нервы трепать друг другу будем – а толку никакого в этом нет.

– А чего он вообще здесь торчит? – продолжала Модзалевская, не слушая мужа: – он когда-нибудь уже уедет в свою командировку? У этого человека нет никакого такта! Ведь видит же сам, что ему здесь не рады, что он всем в тягость! Что, ему сына, что ли, жалко оставить? Никогда в это не поверю...

– Да, конечно, если бы он сейчас уехал в командировку, это было бы самое лучшее. – мечтательно согласился Модзалевский.

– Прожил бы год за границей, – говорила Елизавета Сергеевна: – все бы тут без него наладилось. Сашу выкормим, воспитаем как надо... А не то ведь просто сил, никаких нет! Усовестить ты его, бога ради! Уговори уехать! Скажи, что нам и ему так легче будет.

– Я уже ему неоднократно говорил... – возразил Модзалевский: – вообще его не понимаю... Ясно только одно – что он томится и не находит себе места, и работа валится у него из рук, а между тем ему надо еще свои дела закончить, перед

отъездом.

– А ты был в сиротском суде?

– Нет, не успел.

– Что же ты? Надо хлопотать!

Модзалевский собирался хлопотать о том, чтобы его назначили опекуном над ребенком, на случай, если Лукомский уедет за границу. Об этом уже был разговор с зятем, и тот не только соглашался оставить внука на это время у Модзалевских, но и сам просил их об этом и даже дал метрическое свидетельство Саши.

– Завтра же я съезжу в суд, – сказал Николай Павлович, поднимаясь со стула: – а теперь, в самом деле, попробую еще раз поговорить с ним насчет командировки.

И он пошел к зятю.

Зять был у себя в комнате. Когда Модзалевский вошел к нему, он рылся у себя в письменном столе с мрачным, не внушающим ничего хорошего видом.

Модзалевский шел сюда, искусственно смягчив и умиротворив себя. «Надо уже закончить все эти ссоры и склоки, – думал он: – надо хоть как-нибудь установить приличные отношения.»

Но когда он опять увидел мрачную фигуру этого человека, насквозь пропитанного одним негативом к Модзалевским, – благие мысли и намерения стали быстро испаряться. Николай Павлович почувствовал, что внутри него снова закипает острая неприязнь к Лукомскому.

– Извините, что помешал вам, – против воли сухо произнес он: – нам надо объясниться, долго жить в таких условиях становится уже невозможно.

Лукомский продолжал рыться в столе, не меняя позы и, по видимому, начал злиться, так как его уши начали багроветь.

– Я тоже так считаю, это становится невыносимым! – ответил он: – но едва ли я виноват в этом...

– Зачем разбирать, кто прав, кто виноват? – промолвил Модзалевский, стараясь удержаться от овладевшего им раздражения: – Дело не в том, кто виноват, а в том, как установить более приличные отношения. И я думаю, Даниил Валерьевич, что не только нам нужно пойти на уступки, но и вам тоже. Вы чересчур требовательны. Вы не хотите не с кем считаться. Вот и сегодня вы совсем напрасно рассердились на Елизавету Сергеевну и не пожелали даже выслушать её объяснения!

Модзалевский незаметно сам для себя перешел от предполагавшихся уговоров к упрекам. Лукомский вспылил.

– Николай Павлович! Не я не хотел выслушивать объяснения, а татап... Я целых полчаса стоял перед закрытой дверью в детскую, вход в которую должен быть открыт для меня постоянно, как для отца ребенка, в любое время дня и ночи... Я убеждал татап, я объяснял ей все это и объяснял это раньше. И все-таки, несмотря на присутствие прислуги, меня не впустили, и теперь даже в глазах няньки я – пустое

место. Неудивительно, что меня во всем доме никто в грош не ставит. Матан поразительна бестактна в этом отношении. Она совершенно не считается с обстановкой, и с присутствием посторонних лиц. Это уже не первый, не второй и даже не десятый такой случай. Это система!

– Ну, какая такая система? – рассердился Модзалевский: – Елизавета Сергеевна была раздета, одеться было некогда, а вы, извиняюсь за выражение, ломились в дверь как буйный. И я вас спрашиваю, это тактично? Вот это тактично по вашему? Да и вообще это такой вздор, такая чепуха, что и говорить бы не стоило, а вы делаете из мухи слона!

Лукомский пожал плечами.

– А я вам говорю, что это система. Так всегда делается. Все это, конечно, мелочи, но мелочи характерные, а главное унижительные для меня... Везде в этом доме проходит мысль, что я – пятое колесо в телеге, что я – никто в этом доме.

Модзалевский хотел было возразить, но ему стало нестерпимо скучно продолжать этот бестолковый спор, которому, по обыкновению, и конца не предвиделось.

– Бросим этот разговор! – предложил он: – Я не хочу с вами ссориться.

Лукомский тоже почувствовал, что спорить на эту тему бесполезно, раз его собеседник не понимает или умышленно не хочет понять его. Он сделал унылое («Достойное», как ему казалось) лицо и сказал:

– Я тем не менее хотел бы ссориться.

Наступила пауза. Модзалевский встал и прошелся из угла в угол.

– Что это вы делаете? – миролюбиво обратился он к зятю, остановившись перед ним: – собираетесь, что ли?

– Нет, я ищу портрет Елены, который стоял на комодке. Не понимаю, куда я мог деть его? Это лучший её портрет, и притом единственный. Да черт возьми где он? Как украл его кто...

– У нас в доме, слава богу, воров нет. – морщись сказал Николай Павлович.

Он помолчал и произнес другим тоном:

– А я уж серьезно подумал, что вы собираетесь. И я, между прочим, хотел даже побеседовать с вами на счет вашей командировки за границу.

Лукомский услышав эти слова насторожился.

– О чем именно? – сухо спросил он.

– Послушайте, Даниил Валерьевич, – мягко заговорил Модзалевский: – не сердитесь на меня, но я скажу вам прямо и откровенно: нам надо на время разъехаться... Пока все не уляжется. Вы видите, как трудно нам стало ладить друг с другом... Я конечно понимаю, что всё это происходит из-за того, что все мы сильно расстроены. Но, чтобы не портить отношения до конца, нам нужно отдохнуть друг от друга. Я не могу никуда уехать, а вы можете... Вы даже обязаны уехать: у вас казенная командировка.

Лукомский выпрямился во весь рост и сделал оскорбленное лицо.

– Я очень сожалею, – глухо произнес он: – что довел дело до того, что меня выдворяют... Разумеется, мне давно нужно было бы покинуть ваш дом...

– Нет, ну серьезно, с вами невозможно разговаривать! – стал опять терять терпение Модзалевский: – кто вас выдворяет? Зачем такие слова? Я же вам говорю, что нам надо разъехаться временно. Временно, понимаете? Иначе мы изведем друг друга... Сейчас наша с вами совместная жизнь это одно мучение. Но пройдет время, все изменится, сгладится вот увидите. Поймите, для всех это будет правильно.

– Благодарю вас за ценный совет! Вы совершенно правы. И я был бы очень рад немедленно же освободить вас от своего присутствия...

– Господи! Да что вы опять такое говорите? – раздраженно перебил его Модзалевский, но Лукомский продолжил:

– Но, к сожалению, имеются обстоятельства, мешающие мне немедленно удовлетворить ваше желание. Во-первых, у меня еще не готов заграничный паспорт, что впрочем не мешает мне поселиться в гостинице до его получения. А, во-вторых – и это самое главное – мой сын.

– Что ваш сын?

– Если я вас покину, то я не могу оставить у вас своего ребенка. А перевести его сейчас в другую обстановку я, к сожалению, не могу. Прошу меня простить, что я не позабо-

тился об этом раньше.

– Позвольте! – воскликнул Модзалевский: – что вы такое говорите? Ведь вы же сами согласились оставить Сашеньку у нас.

– Да... Но тогда было другое дело. Тогда я был мужем вашей дочери, и как-никак, близким вам человеком... И тогда вы еще не предлагали мне под разными деликатными соусами прекратить эту близость...

Модзалевского взорвало. Всякий раз когда он (как, например, сейчас) приходил в ярость, у него как-то на голове самим собой вставали дымом седые волосы, а очки начинали сваливаться с близоруких глаз. И при этом его невысокая, сутулая фигура становилась выше и величественней.

– Вы не человек! – закричал он тонким голосом, махая очками дрожащими руками: – Вы машина! У вас нет сердца! Вы не можете понять самых простых, самых обыкновенных человеческих слов и перерабатываете их в какую-то гадость! Вы везде и во всем видите какой-то скрытый замысел! И никакими силами нельзя вам втолковать, что с вами говорят вполне искренно. Я же вам сказал, что разъехаться нужно временно, пока все не успокоится... Но если уже вы всё понимаете шиворот наыворот, то мне остается только одно: просить не покидать нас не на одну минуту, бросить все ваши чертовы командировки, мучить себя и нас и окончательно испортить все отношения между нами.

– Николай Павлович, прекратите эту театральщину и из-

девательства надо мной. – небрежным тоном произнес зять.

– Издевательства? – кричал Модзалевский: – кто над кем еще издевается, вы и издеваетесь!

Он махнул рукой и, весь красный, вспотевший и злой, вышел быстрым шагом из комнаты зятя.

– Что такое? – спросила его встревоженная Елизавета Сергеевна.

– Нет, это невозможно! – плачущем голосом говорил старик: – Ну, и черт с ним! Пусть живет здесь... Что я могу ещё сделать с ним?

Позднее, немного успокоившись, он передал жене содержание своего разговора с зятем.

– Так он уезжает или не уезжает? Я ничего не понимаю, – заметила Елизавета Сергеевна.

Модзалевский широко развел руками.

– Он хочет дать нам понять, что если, мол, он уедет, так уж едет совсем, и что между нами все порвано, и что мы его выгнали. Словом, если он уезжает, то это скандал, позорище и смертельное оскорбление ему...

Николай Павлович от волнения, словно зверь в клетке, несколько раз прошелся по комнате.

– И беда не в том, – продолжил он: – что из-за паспорта или по другой причине он проживет у нас еще неизвестно сколько дней, а беда в том, что при таких его взглядах мы, пожалуй, и сами будем просить его остаться. Потому что мы не хотим скандалов и позорищ... Да к тому же еще эта его

болтовня на счет Саши.

Старики долго еще не могли успокоиться и, заперевшись в своей комнате, до глубокой ночи рассуждали об ужасном зяте и о невозможности отделаться от него.

Лукомский, по уходу Модзалевского, в первый момент хотел броситься за ним вслед и во всеуслышание – так чтобы вся прислуга слышала – объявить: «Я не на минуту больше не задержусь в вашем доме!» – и в самом деле тут же собрать вещи и уйти в гостиницу. Но свойственная этому чопорному и холодному человеку выдержка удержала его от этой выходки.

– Нет! Это уже слишком! – бормотал он, нервно шагая из угла в угол: – это уже чересчур! За кого они, в самом деле, меня держат?

Тесть, в сущности, и раньше закидывал удочку насчет командировки и насчет того, что было бы лучше Даниилу Валерьевичу уехать. Но еще никогда, как казалось сейчас Лукомскому, он не делал этих закидываний в такой прямой и обидной форме, как сегодня.

Он нервно бродил по комнате и обдумывал, как же ему теперь поступить? Разумеется, правильной всего, достойно это немедленно уйти и порвать все отношения с этими неделикатными людьми. Но уйти – это значит уйти совсем и, стало быть, забрать ребенка. А куда пристроить этого ребенка, этого сына, к которому Лукомский не чувствовал никакой привязанности, но который принес с собой, на свет божий, но-

вый авторитет для Лукомского – авторитет отцовский. Этот, как и все другие авторитеты Лукомского, нуждался в поддержке и охране, и поэтому невозможно было игнорировать сына, но приходилось много соображать, по поводу его дальнейшего существования.

Со временем, не торопясь, обдумав как следует, конечно, можно было бы пристроить сына куда-нибудь приличным образом. Но сейчас, завтра, послезавтра – сделать это было невозможно.

«Может быть, он извинится завтра передо мной и все это сгладится? – вдруг пришла Лукомскому в голову мысль: – а иначе как быть? Не глотать же бесконечно все эти оскорбления?»

Для того, что бы хоть немного успокоится и отвлечься, он снова принялся за поиски портрета. Но вместо успокоения это занятие принесло новые раздражения.

Он перерыл все ящики комода, весь письменный стол, все бумаги и брошюры, которые лежали на этажерке, но портрета нигде не было. А между тем Лукомский ясно помнил, что еще два дня назад портрет лежал на комодe.

Сегодня ему пришло в голову заказать сделать с него увеличение в изящной черной рамке с креплениями. Ему казалось, что это будет очень прилично и вполне подходяще его новому статусу. Статусу вдовца.

«Куда он мог деваться? – думал он, раздраженно ходя по комнате большими шагами: – что это за возмутительные

порядки? Мои вещи пропадают из моей собственной комнаты! Кто же здесь без меня хозяйничал? Или я уже не хозяин даже здесь?»

Измученный и раздраженный, он улегся спать, но уснуть не мог. Несколько раз, в течении ночи, он вставал, пытался работать, читать, обдумывать свое положение, искать еще раз портрет – но ничего не получалось. Мысли в его голове никак не могли собраться воедино, а в сердце закипало и росла острая неприязнь к «неделикатным и нетактичным людям».

На следующий день у него произошла новая ссора с Модзалевскими, потом еще и еще – и отношения с ними, с каждым новым днем, становились все хуже и хуже.

Глава третья

Иван Иванович Чакветадзе получил жалование и отправился «кутить» на стоявший у пристани пароход.

Грузин-бухгалтер свято исполнял этот обычай каждый месяц. Но так как он был человек очень воздержный и скромный, а еще и не пил вина, то кутежи у него были довольно своеобразные.

Он позвал своего помощника Сухомлина и передал ему инструкции, как и что делать без него, а сам надел красный парадный бешмет с крупными черными пуговицами, чистую черную сорочку и новую, кристально белую, кавказскую папаху. И, напустив на себя важности, торжественно отправился в рубку первого класса.

– Здравствуйте, Иван Иванович! – кланялись ему знакомые официанты, радостно улыбаясь.

– Здравствуй! – величественно кивнул он: – который из вас самый проворный? Ко мне иди! Служить мне будешь, буду гонять тебя так сильно, что заморю на работе.

– Не заморите, Иван Иванович! Вы человек хороший, обходительный, щедрый.

В рубке Чакветадзе уселся за отдельный стол в углу, и напустив еще больше важности, произнес:

– Ну, значит, меню мне давай.

Официант подал меню, и Чакветадзе стал внимательно

изучать его.

– Осетрина у вас свежая?

– Помилуйте, Иван Иванович... Из Астрахани идем-с.

– И севрюжка тоже?

– И севрюжка. И вообще любая рыба на пароходе: стерлядь, судак, налим...

– А из дичи есть что-нибудь подходящее для меня?

– Куропатка есть, тетерев, утка...

– Ага... так... тогда будь добр подай мне салат из рыбы...

Да чтобы зеленого горошку побольше, солений разных, да и грибков еще можно.

– Слушаю-с, Иван Иванович!

– А после подай мне пожарскую котлету из дичи... И потом пломбир с фруктами... Два пломбира с фруктами.

– Слушаю-с...

– Постой постой! Погоди, знаешь, что сделай: сначала пломбира мне подай, хорошо? А уже потом рыбу и котлетку...

– Понял вас, сию минуту!

– Нет, постой!... Смотри, пожалуйста, а ты действительно проворный!... Ты погоди. Возьми свой карандаш с бумагой и ещё запиши... Взял? Записываешь? Так... еще мне порцию черной икры, это между делом, потом сыру мне... швейцарского, а затем чашечку бульона куриного. Вот... Смотри не упусти ничего!

– А из вин, что прикажите?

– А из вин подай мне фруктовой воды – грушевой и черносмородиновой. А потом можно и чая... с вареньем и печеньем.

Иван Иванович страстно любил чай со сладостями и мог пить его помногу и подолгу. Про него ходил один миф, что во время пожара в его доме, который случился несколько лет назад, Иван Иванович едва не сторел из-за чая. Он пил чай, когда к нему прибежали и сказали, что его дом загорелся. «Мало ли что там горит! – возразил он: – не видишь я чай пью!». Немного погодя, опять прибегают: – «Иван Иванович, лестница горит! Бегите!» – «Смотри, пожалуйста, не буду я бежать! Дайте чай допить!» Наконец только когда пламя ворвалось в комнату, Иван Иванович схватил самовар и кое-как, через окно, выбрался наружу. Но чай все таки допил.

– Ну-с, теперь все, – объявил он официанту: – действуй! Ах да, передай еще капитану: – мол, Иван Иванович, угощает. Просил пожаловать, если время имеется.

Спустя минут двадцать, Чакевадзе находился уже в самом разгаре пиршества. Перед ним стояли бутылки с разноцветной жидкостью, сковородки с горячей едой, разные салатницы, тарелки... Его темное скуластое лицо еще больше потемнело от удовольствия и жара. В рубке было почти пусто. Кроме него, сидело по углам всего два-три пассажира: Иван Иванович скучал без компании и ждал кого-нибудь из своих.

И компания не заставила себя ждать. Грузина настолько

все любили, что он не мог остаться в одиночестве.

Прежде всего в рубку заглянул капитан.

– Иван Иваныч! Мое почтение! – весело воскликнул он: – Пиршествуете? Приятного аппетита!

– Спасибо! Сюда иди! Вместе кушать будем! – пригласил его грузин.

– Да ведь ты ерунду кушаешь, Иван Иваныч! – смеялся капитан подсаживаясь: – я и рад бы тебе компанию составить, да душа не принимает сладкой водички. И чего ты вина не пьешь? Какой ты, прости господи, грузин после этого? Ты кстати знаешь, что Волга пьяных любит? Вот Волга пьяных не топит, а трезвых топит...

– Ну, ладно тебе! Для тебя сейчас велю вина подать... иль водочки прикажешь? Пей на здоровье, а я свою «сладкую водичку» попью. Хорошо?

– А не противно? Если вино то рядом будет стоять?

– Мне то что? Пускай стоит.

Вскоре к пирующим присоединились, помощник капитана, машинист и еще двое знакомых Чакветадзе. На столе появилось вино, водка, пиво, а также чай. Чакветадзе пил стакан за стаканом, как будто ровно перед этим ничего не ел и не пил, и заедал всё печеньем и вареньем. Лицо его покрылось капельками пота, глаза сияли, а папаха съехала на бок. Он громко пел, громко говорил, громко смеялся и гораздо больше производил впечатление подвыпившего, чем его соотрапезники, пившие горячительные напитки.

При подобной обстановке протекали все кутежи Чакветадзе, и нередко число пирующих увеличивалось до таких размеров, что приходилось перебираться за стол больше. И вплоть до первого свистка эта дружная компания заседала в рубке, ведя самые приятные для Чакветадзе разговоры о пароходах и пароходных делах.

Иван Иванович был живой легендой всего волжского пароходства. Он знал не только каждый пароход «в лицо» и «по голосу», но и знал всю его историю: где он построен, в каком году спущен на воду, когда последний раз меняли котлы, с кем сталкивался, знал все поломки и т. д. Он был коротко, по дружески, знаком с каждым капитаном. Начиная с местных и приглашенных со стороны иностранцев, заканчивая военными флотскими офицерами. Среди них были у Чакветадзе и любимцы, с которыми он был особенно рад встречаться и проводить время, и знакомством с которыми он очень гордился. Самым любимым из них у него был капитан Ткаченко. Чакветадзе ярко и образно изображал перед своей аудиторией, как этот знаменитый капитан, гоняясь с другим пароходом, сжег, из-за нехватки дров, груз свиного сала. Рассказывал с какой легендарной скоростью ходил под его управлением пароход «Вещий Олег», и как не воздержан был Ткаченко на язык: когда пароход садился на мель, он, зная свою слабость, предусмотрительно обращался к пассажирам: – «Сударыни! Сейчас я буду грубо выражаться. Не угодно ли вам спустится вниз»...

– И смотри, пожалуйста, как он любил свой пароход! – всегда прибавлял грузин: – ни на какой другой пароход переходить не желал. Его звали на «Анастасию», на «Поспешный». Нет, остался на проверенном «Вещем Олеге»... Не то что нынешние капитаны: сегодня на одном, завтра на другом... Пароход свой путем разглядеть не успеют, а уже на другом. Ткаченко знал свой пароход! Каждый гвоздик на нем знал... А когда «Вещего Олега» модернизировали и полностью перестроили, дав ему новое имя «Анна». Он обиделся: «Это не мой пароход! Не хочу и не буду на нем ходить!» – и ушел. Да, вот такой он капитан Ткаченко, остался верным другом «Вещему Олегу» и не предал его.

Иногда шутки ради, чтобы подзадорить Чакветадзе, собеседники принимались хвалить пароходы конкурирующей компании. Тогда грузин приходил в шумное возбуждение.

– Что ты мне такое говоришь, скажи, пожалуйста! – кричал он, ударяя себя в грудь смотря бешеным взглядом на собеседника: – «Юрий Долгорукий» хороший пароход? Ты верно с ума сошел? «Юрий Долгорукий» построен в 1862 году, а котлы в последний раз на нем меняли в 80-м! У него машинное отделение все черное, как ночь, не одного светлого пятна. Это старая, гнилая дрянь! А обстановка? Ха! Видел ты обстановку «Юрия Долгорукого»? Дешевка! Еще и ненадежная! А, ты не видел, тогда молчи, пожалуйста, если не видел!

– А видал ли ты, Иван Иванович, «Светлану» после ремон-

та? – хладнокровно говорил собеседник, перемигиваясь с соседями: – вся блестит, сверкает, стены в рубке оклеили тисненым деревом... Просто шик!

– Ну ты скажешь дорогой! После ремонта... – вопил Чакиетадзе – знаем мы их ремонт! Вывеску покрасили да свисток новый приделали! И вот, скажи, пожалуйста, вот откуда ты взял тисненное дерево? Никакого тисненого дерева там нет! Трехлетняя старая клеенка облезлая... Тьфу, срам! «Светлана» как была дырявым корытом, так им и осталась!

– Ну, может быть, я его с кем-то спутал... – кротко соглашался собеседник.

– Ой, пароходы он путает, а еще капитан называется! – накидывался на него возбужденный грузин.

– Ну, ладно тебе, – смеялись остальные: – Иван Иваныч, не сердчай.

На это раз пиршество Чакиетадзе однако прервалось самым неожиданным образом.

Около Иван Иваныча собралось уже человек шесть, и разговоры текли рекой. Он уже успел воодушевленно рассказать целых две истории о капитане Ткаченко. Потом разговор перешел на нынешние порядки в пароходстве. Чакиетадзе, еще более воодушевившись, громил «бюрократов» из петербургского правления «Сома» за нелепые, по его мнению, распоряжения и за незнания Волги. До отхода парохода оставалось еще два часа, и еще половина напитков и угощений оставалось нетронутыми, а Чакиетадзе добрался всего толь-

ко до седьмого стакана чая.

И вдруг в рубку вбежал бледный, взволнованный Сухомлин и испуганным тоном, заикаясь от волнения, обратился к грузину.

– Иван Иванович, срочно пожалуйста в контору!

– А что такое? – удивился Чакветадзе: – Что, собственно, случилось?

– Скандал Иван Иванович... Такой скандал, что и не знаю...

Николай Павлович побил Лукомского...

Чакветадзе вскочил, словно на пружинах. Собеседники в смятении отодвинулись от стола.

– Врешь?!

– Ей богу! Вот тебе крест! – перекрестился: – Сейчас Николай Павлович в конторе, сидит не жив не мертв... Елизавета Сергеевна тоже там, а доктор Лукомский за полицией побежал!

Находившиеся в рубке пассажиры, очевидно, заинтересовались появлением Сухомлина и его рассказом. Почти все они, любопытства ради, торопливо вышли на балкон, откуда было хорошо видно, что делается на пристани.

Потрясенный Чакветадзе схватился за голову и промолвил:

– Батюшки-батюшки... ой, как не хорошо!... Пошли скорей!

– Вот это да! – воскликнул капитан: – Чего это с ним? – крикнул он в спину удаляющегося грузина.

Чакветадзе пулей спустился на нижнюю палубу к трапу и еще по дороге услышал какой-то особый шум в конторе.

Там гудел и раздавался громкий, особенно повышенный и беспокойный разговор, не похожий на обычный шум пристанской суеты. Отдельные восклицания, словно короткие языки пламени, то и дело вырывались в костер этого треска и гула. Около двери конторы теснилась толпа пассажиров и других, случайных, зевак. К зданию торопливо приближался, придерживая шашку, жандарм, а за ним шел, толстый и важный, сам участковый пристав. Шел он спокойно, можно сказать величаво, и попутно остановился перед торговкой погрозив ей пальцем. В толпе какая-то дама взволновано и гневно говорила: — «Черт знает что! Дерутся, скандалят... никогда в жизни больше на этих пароходах не поеду!»

Чакветадзе вошел в контору. Так же, как и в тот день, когда здесь внезапно расплакался Модзалевский, конторские служащие с любопытством заглядывали в полуоткрытую дверь кабинета. Лишь кассир, занятой выдачей билетов, нахмурившись, делал свое дело, да помощник капитана рылся в связке ключей выдавая ключи пассажирам.

Иван Иванович нерешительно заглянул в кабинет: ему было жутко, словно там, в кабинете, все еще продолжалась драка, что произошла здесь несколько минут назад.

Модзалевский, весь красный, с растрепанными волосами, нервно покачиваясь, молча стоял в углу. Елизавета Сергеевна, наоборот, была вся в движении, махала руками, быстро

ходила по комнате, кричала и, видимо, была вне себя от гнева. От волнения Чакветадзе не заметил и не за что не мог потом сказать, был ли еще кто-нибудь в кабинете, кроме них, или не был.

– Не увидит он теперь этой карточки, как своих ушей! – кричала Модзалевская: – И пусть сегодня же убирается вон из нашего дома!

– Простите, у вас все в порядке? – осмелился наконец спросить Чакветадзе: – Что тут произошло?

Модзалевский бегло окинул его блуждающим взглядом и ничего не ответил. Зато Елизавета Сергеевна так и накинулась на него.

– Да, да!... Заходите, не стойте на пороге. Представляете, этот мерзавец пристал ко мне при всех с отборной бранью, зачем я взяла портрет? Я ему говорю: – «Не ваше дело»... А он начал меня на глазах у людей оскорблять... «Вы воровка! Вы такая! Вы сякая!» – Ну Коленька не стерпел и ударил его, конечно, и тут началось...

Николай Павлович глубоко вздохнул и поморщился от внутренних боли.

– Ай подлец! Ай мерзавец! – покачал головой грузин: – Как этому шайтану только не стыдно... Оскорблять порядочную женщину на глазах у мужа.

Он не понимал, о каком-таком портрете идет речь, но ему было ясно одно, что Елизавету Сергеевну оскорбили. А так как он уважал её и любил, а доктор Лукомский ему был без-

различен, то он и решил, что Лукомский оскорбил её зря.

– Это не его вещь, а моя! – взволнованно продолжала, подтверждая его убеждения, Модзалевская: – тысячу раз моя! И взяла я портрет только для того, чтобы сделать с него копии. Это единственный похожий портрет Елены... Я бы ему его сразу вернула. А теперь уж нет... Не увидит он его... Я скорее порву его на сотню разных кусочков, чем отдам ему!

Видя, что ничего путного здесь сделать нельзя, он решил пойти успокоить публику и вообще как-нибудь потушить скандал.

– Петька! – громко и строго окликнул он матроса, стоявшего в толпе любопытных: – тебе что заняться нечем? А ну бегом к капитану, скажи, чтобы свисток давал.

– Иван Иваныч, так рано еще...

– Это не твоего ума дела, исполняй, что сказано!

Чакветадзе пошел к кассам, дружелюбно подвинул кассира и начал помогать тому с выдачей билетов.

– Господа подходим! Вам куда? В Симбирск? А вам? Ясно. Здравствуйте ваше благородие! – грузин толкнул кассира в бок: – Дай князю его билет.

Раздался свисток быстро приковавший к себе внимание пассажиров, отвлекая их от неприятной истории. И пассажиры начали расходиться по своим местам.

Людей около конторы почти не осталось. Но зато откуда-то появился Лукомский. Необычно взволнованный, то бледнея, то краснея, он сунулся сначала в один угол, по-

том в другой, явно кого-то искал. Чакветадзе, хоть и хотел пристыдить, а может и даже ударить Лукомского, как-никак он позволил себе оскорбить Елизавету Сергеевну, но решил, что правильно будет попытаться успокоить его и уговорить не обращаться в полицию. То обстоятельство, что Лукомский был тяжело оскорблен, и что уговаривать его сейчас бессмысленное, гиблое дело, никак не смущала Чакветадзе. Ну допустим, Лукомский получил оскорбление... Но, во первых, Николай Павлович хороший человек, а во вторых, третьих и в пятых – Николай Павлович хороший человек. Да и в конце концов, Лукомский сам виноват.

– Даниил Валерьевич! – обратился он к возбужденному доктору: – может вам водички принести? А то не дай бог стгоряча еще...

– Где полицейский и участковый? – перебил его Лукомский, не замечая и не признавая Иван Иваныча.

– Господа Жандармы, ждут вот в том кабинете, – показал грузин и попробовал снова успокоить Лукомского: – Да полно вам! Не сердитесь, дело-то семейное. Зачем, скажи, пожалуйста, вам жандармы?

Но Лукомский опять не признал его и торопливо зашагал своими длинными ногами по указанному направлению.

Чакветадзе разозлился. Он не выносил, чтобы им пренебрегали и высказывали ему неуважение. Кровь бросилась к нему в голову – и буквально за минуту, Лукомский, который раньше был безразличен Иван Иванычу, стал его на-

стоящим врагом. Он сердито махнул рукой, схватил папаху и швырнул её со всей силой об землю.

– Шайтан проклятый! – тихо, сквозь зубы, произнес грузин.

Проводя Лукомского яростным взглядом до указанной ему двери, Чакевадзе, хрустнул костяшками на пальцах, поднял папаху и пошел обратно в контору.

О пиршестве, конечно, уже и речи быть не могло.

– Во первых, вы тоже оскорбили его, в лице его супруги, – лениво басил участковый пристав: – а, во вторых, это же ваш тесть, у вас в семье такое несчастье произошло, вам бы наоборот сплотиться надо, а не морды бить друг другу.

Но Лукомский и слышать не хотел ни о каком примирении.

«Ну не вызывать же мне его на дуэль! – думал он: – да он и откажется... Он меня за холопа считает, которого можно бить на глазах посторонних людей!»

И, весь вспыхнув от воспоминаний о нестерпимо острой минуте публичного унижения, он решительно стал настаивать на составлении протокола.

– Это единственный способ реабилитировать мое достоинство! – произнес он.

И эти сухие, колючие слова, казалось, застряли в его горле. Так сильно они были сухи.

– Как угодно-с! – промолвил пристав и стал составлять протокол.

«Июня 29 дня, 1889 года, я, нижеподписавшийся, составил настоящий протокол о нижеследующем»... – выводил он правой рукой, сидя за столом в кабинете конторы «Сом».

Жандарм со скучающим видом безучастно, пока участковый пристав составлял протокол, глядел в окно на собиравшийся отчаливать пароход. Там шла удвоенная суета: грузили последние мешки товара и начинали убирать трап.

Лукомский – длинный и чопорный – сидел на стуле напротив и упорно размышлял: как ему теперь поступать дальше? Как сохранить свою честь и достоинство?

К этой обычной и знакомой для него мысли теперь добавлялось чувство острого оскорбления. И ему было ясно, что это окончательный и бесповоротный разрыв всех отношений с Модзалевскими. Из людей родственных, и каких-никаких близких, они сделались его противниками, врагами и к тому же стали абсолютно чужими.

Модзалевские уехали в город еще до отхода парохода.

Оба они – и муж и жена – были одинаково поражены совершившимся событием, но относились к этому по разному.

Елизавета Сергеевна при всем своем смущении была отчасти даже довольна, что неприятные отношения закончились такой катастрофой. Такой исход знаменовал явное расторжение близких отношений, и, стало быть, ненавистный человек теперь должен был уже непременно уйти от них, а значит перестать мучить их своим присутствием. Сказанные в её адрес оскорбительные слова уже потеряли свою

остроту. Она готова была забыть их. Оскорбление, нанесенное её мужем этому человеку, волновало её не очень сильно, потому что, в тот момент, она понимала неизбежность этого события. Публичность и скандальность этой истории её тоже не беспокоило. Модзалевские, имевшие множество знакомств и живя постоянно на людях, привыкли к публичности. Больше всего Елизавету Сергеевну беспокоило состояние её мужа.

Николай Павлович, в противоположность ей, очень сильно мучился. Его терзало и грызло сознание, что он – приличный и порядочный человек – сделал такое безобразие, такое вопиющее некультурное деяние – побил человека на глазах у толпы...

Его неотступно угнетало воспоминание о той минуте, когда гнев затуманил ему взгляд и разум, и он поддавшись ненависти – видя бесчувственное лицо зятя и слыша его нецензурную брань в адрес своей жены – словно дикое животное совершил постыдный, непростительный поступок.

При этих воспоминаниях ему становилось душно. От стыда хотелось зарыться куда-нибудь с головой и ничего больше не слышать и не видеть.

– Коленка, успокойся! – умоляла Елизавета Сергеевна: – Нельзя же так переживать. Все к этому и шло. Нужно поскорей забыть это все как страшный сон. Только и всего!

Модзалевский качал головой и по прежнему чувствовал пульсацию на разбитой руке.

Но дома их ждало событие, которое сразу привело их в чувство. И вызвало такое волнение, что события на пристани сразу отошли на задний план.

Заболел Саша.

С ним случился неожиданный, ни раз до той поры не случавшийся, припадок. Сразу поднялась температура; ребенок впал в беспамятство, посинел и закатил глаза. Модзалевский лично побежал за доктором, напрочь позабыв о зяте. Доктор скоро приехал, и началась опять та суета, которая уже была так хорошо знакома в этом доме и наводила ужас.

Припадок скоро прошел, но переживания по этому поводу продолжались почти всю ночь. Доктор ничего не говорил и был серьезен. Елизавета Сергеевна убивалась, рыдала и теперь уже Николай Павлович успокаивал её...

Благодаря всей этой суматохи, Модзалевские как-то не заметили отсутствия зятя. Он так и не вернулся домой и куда-то бесследно исчез. Все его вещи по прежнему оставались в его комнате: его одежда, книги, документы. Все эти неодушевленные предметы лежали на своих местах, словно никакого разрыва и не было. Они как будто говорили всем своим видом: – «Нам что за дело, если паны дерутся? Лежим и будем лежать, пока нас не заберут».

Прошла ночь. Саше стало гораздо лучше. Страхи и волнения улеглись, а утром, проходя мимо комнаты Лукомского, Елизавета Сергеевна вспомнила о зяте.

Ей стало снова радостно при мысли, что ненавистный че-

ловек ушел. Какое счастье не видеть его длинной, тощей, деревянной фигуры, не слышать его нудных речей. А какое счастье обедать, пить чай, ужинать, сидеть в детской без него, без этого тягостного и совершенно ненужного третьего лица.

Но окончательно ли он ушел? А вдруг он вернется? Ведь его вещи ещё здесь... Ведь это ещё его комната. Было бы, конечно, хорошо убрать из комнаты все его вещи и сделать эту комнату снова своей, как это это было раньше. Елизавета Сергеевна даже мысленно прикинула, что именно можно поставить сюда из мебели. В детской тесновато из-за огромного шкафа, значит шкаф нужно поставить здесь. Потом сюда можно поставить один из книжных шкафов Николая Павловича. А еще можно сделать отдельный уголок из мебели и вещей Елены.

– Только бы он не возвращался... – от всей души вздохнула Модзалевская.

Прошло еще два дня. Зять так и не вернулся.

К вечеру через прислугу стало известно, что Лукомский ночует у своих знакомых, Рогачевых.

– Надо что-то делать с его вещами, что думаешь? – наконец не удержалась и спросила мужа Елизавета Сергеевна.

Модзалевский, все еще крайне удрученный, остался недоволен этим вопросом жены.

– Ничего не думаю, Лизанька... – поморщился он: – Не трогай их, пожалуйста. Они тебе прям покоя не дают...

– Да, не дают! – не унималась она: – здесь находится все его барахло: вещи, рукописи, больничные листы. Надо немедленно все это отослать ему. Еще будет говорить, что мы намеренно задерживаем его имущество!

– Куда мы их отошлем? К Рогачевым? Да почему ты знаешь, может быть, он уже не у них.

Елизавета Сергеевна почувствовала себя побежденной этим аргументом. Но на другой день было получено известие (опять таки через прислугу), что Лукомский перебрался в гостиницу. И Модзалевская опять возобновила разговор о вещах.

– Категорически нет! – заявил Николай Павлович: – Ты же знаешь как он болезненно все воспринимает. Не надо его лишний раз злить. Пусть сам забирает вещи, если ему это надо.

Только на второй день, после этого разговора, поздно вечером в квартире Модзалевских появилась какая-то таинственная личность и выразила желание повидать «барина или барыню»...

– Собственно вот, нельзя ли получить от вас вещи по этому документу? – заявила личность, протягивая мятую, в одном месте порванную, бумажку.

В бумажке этой, никем не подписанной и неизвестно кем отправленной, было написано: «Прошу вас выдать посылному: 1) Три мох костюма, висящие в левом отделении гардероба. 2) Все белье из нижнего ящика. 3) Бумаги и доку-

менты, находившиеся в коричневой и синей папке.»

И больше ничего.

Елизавета Сергеевна самолично собрала все эти предметы из списка и, не спрашивая таинственную личность, кто она и откуда, и есть ли у нее хоть какие-то формальные полномочия на получение вещей, вручила их. И личность ушла.

Все остальное имущество Лукомского так и оставалось, как было, в его комнате, что очень сильно огорчало Елизавету Сергеевну.

Глава четвертая

В первое время после событий на пристани Лукомский был убежден, что теперь никакие встречи с этими неприятными людьми невозможны, они теперь, сами выбрав этот путь, стали его врагами. По крайней мере, до суда, который должен был реабилитировать его гражданскую честь и достоинство. Его достоинство которому нанесли неслыханное оскорбление, да еще и в публичном месте на глазах у огромного количества людей.

Суд состоялся очень скоро – на третий же или на четвертый день. Лукомский не пошел в суд, чтобы не привлекать внимание публики, но отправил своего поверенного, дав ему инструкцию добиться обвинения для Модзалевского, а затем простить его и ходатайствовать об отмене наказания. Такой шаг наиболее способствовал, по мнению Лукомского, реабилитации его достоинства и поднимал его в глазах общества. Теперь всем должно стало быть понятным, что Лукомский руководствовался не мстью, не низким побуждением, а лишь желанием защитить свою честь и лицо.

Так все и получилось. Судья заочно (Модзалевский не явился) обвинил Николая Павловича в нанесении оскорбления действием доктору Лукомскому в публичном месте и приговорил его к месяцу ареста. А затем постановил не подвергать его наказанию, в виду ходатайства обвинителя.

Итак, это «дело» было кончено. Но вот теперь, когда оно было кончено, перед Лукомским стала целая вереница неразрешимых вопросов, и ему стало казаться, что история на пристани, положившая начало его разрыву с Модзалевскими, и последовавшее за ней судом, есть лишь пролог к дальнейшим крупным неприятностям. Так же стало ясно, что избежать столкновений и встреч с врагом, по всей вероятности, крайне трудно и почти невозможно.

Несмотря на состоявшийся суд и на полученное официальное удовлетворение, Лукомский не мог успокоиться. Его раздражали тысяча мелочей: расспросы знакомых, взгляды на улице, смешки прислуги, количество людей знавшие о произошедшем, жизнь в гостинице. А самое главное, его возмущало то, что со стороны Модзалевских до сих пор все еще не было никакого отклика, никакой реакции...

Мысли об этом приводили Лукомского в животное бешенство. Это оскорбляло его даже больше, чем драка на пристани.

«Они давно добивались этой минуты! – с гневом думал он: – они только об этом и мечтали! Специально спровоцировали меня, чтобы отделаться!...»

У него конечно была надежда, что посланный им за нужными ему вещами человек будет принят Модзалевскими, как посредник для переговоров, и что они пришлют с ним, кроме вещей, свои объяснения или извинения. Но посланный человек был встречен как тень и не принес от них ни-

каких записок.

Что же теперь было делать? Невозможно же было просто взять и исчезнуть из их поля зрения им на радость.

Суд удовлетворил лишь оскорбленную честь Лукомского, но кроме чести, пораженной насильственными действиями Модзалевского и ныне уже удовлетворенной, оставалось еще очень много неудовлетворенного. У Модзалевских, кроме разного неодушевленного движимого имущества, находился еще и ребенок.

Вот этот ребенок и составлял теперь главный пункт мучительных соображений, недоумений и затруднений Лукомского.

О ребенке Лукомский уже упоминал в этом смысле и ранее – во время одной из стычек с тестем, но тогда он, скорее на эмоциях, сболтнул лишнего. И серьезных таких действий предпринимать не собирался. Теперь же это было совсем другое дело! Теперь ребенка совершенно точно необходимо было забрать. Во первых, этим Лукомский наносил Модзалевским, если уже на то пошло, наиболее чувствительный удар. Во вторых, это необходимо было сделать для того, чтобы поддержать свой авторитет, как отца, в глазах общества. Только, и только, тогда он бы перестал иметь вид изгнанного и лишенного прав родителя. Ребенок был необходимым оружием для полного восстановления его чести. Также отобрать ребенка являлось важнейшим тактическим ходом в возникшей войне и вместе с тем чрезвычайно важ-

ным юридическим обстоятельством в социальном положении Лукомского.

Но забрать ребенка – это легко сказать! Лукомский прекрасно понимал, что Модзалевские не за что на свете не выдадут ему ребенка так же просто, как документы и «три костюма из левого отделения гардероба». Отобрать у них ребенка являлось весьма затруднительным делом, соединенным с тягостными встречами и столкновениями.

С другой стороны, ребенок страшно стеснял бы самого Лукомского. Там, у Модзалевских, все наглажено как часы: обстановка, няньки, кормление и уход за ребенком. И хоть Лукомский многое хотел изменить в этом, однако он не мог сейчас не согласится, что ворчать и ссориться с Модзалевскими по этому поводу было гораздо легче, чем сейчас возиться с отобранным ребенком и устраивать ему новые условия.

– Что же делать? Что же делать? – раз за разом повторял он, расхаживаясь по крошечному номеру гостиницы.

Недобрая мысль о месте, о том, какой удар хватит Модзалевских, когда они узнают, что он отбирает у них внука, затаилась у него в голове и приносила удовольствие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.